ФИЛИМОНОВ
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Число урожаев

СБОРНИК РАССКАЗОВ

Сергей Филимонов

Число урожаев

«Автор»

2026

Филимонов С. Г.

Число урожаев / С. Г. Филимонов — «Автор», 2026

Приходите сюда осенью, когда над полями ещё держится вечернее золото, а в домах уже загораются теплые огни.Здесь вас ждут шесть историй. В одной дом хранит правду, которую его хозяйка не готова услышать. В другой старое кресло знает, сколько урожаев осталось человеку. А где-то певец ищет собственный голос, чтобы записать песню — впервые под собственным именем.В этих местах чудо может оказаться тяжёлой ношей, а самая обыкновенная забота — вернуть человека к жизни. Посидите с героями на крыльце, дождитесь вместе с ними письма, дослушайте старую пластинку. Пока вы рядом, они ещё не успели стать воспоминанием.

© Филимонов С. Г., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Сэмюэл Грирсон 5
Дом Морроу 15
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Сергей Филимонов
Число урожаев

Сэмюэл Грирсон

В нашем городке его звали мистер Фром, хотя настоящее его имя, как выяснилось много позже, было длиннее и труднее. Он сам стер из него все лишнее, оставив только то, что помещалось на почтовом ящике и легко произносилось человеком, разбуженным среди ночи.

Мистер Фром появился в Гринвуде еще до моего рождения — так утверждала бабушка, а бабушкам в таких делах положено верить. С тех пор он ходил по улицам с черным кожаным портфелем, застегнутым на латунную застежку.

Работа у мистера Фрома была простая и скучная, вроде работы почтальона или сборщика налогов: он записывал имена новорожденных. Раз в несколько дней, а иногда и дважды за сутки, он появлялся на пороге дома, где недавно родился ребенок, снимал шляпу и кланялся матери. Отцов он приветствовал только кивком, словно в деле, ради которого пришел, им отводилась почетная, но все-таки второстепенная роль.

Из портфеля мистер Фром доставал толстую книгу в черном переплете с обрезом цвета старого меда. Затем вынимал короткую перьевую ручку в серебряном корпусе, открывал книгу на нужной странице и спрашивал:

— Как назвали?

Ему говорили имя. Он записывал его медленно, выводя каждую букву отдельно, потом дул на строчку, закрывал книгу и благодарил хозяев. Это называлось у нас городской переписью, хотя ни в одном распоряжении Гринвуда такой должности не существовало. Просто так было заведено — как полуденный колокол, закрытая по воскресеньям почта и флаги на крыльце мэрии перед Днем памяти.

Я был мальчишкой лет семи, когда впервые заговорил с мистером Фромом. Он шел мимо нашего забора, а я сидел на верхней перекладине и болтал ногами над кустами сирени.

— Мистер Фром, зачем вы записываете имена? Их же и так все знают.

Он остановился. Слегка поклонился, хотя перед мальчишкой на заборе этого не требовали никакие правила приличия, и посмотрел на меня внимательно.

— Затем, чтобы никто не забылся, сынок.

— Как это — забылся? — я нахмурился.

— Ну вот ты помнишь, как звали твоего прадеда?

Я задумался. Помнил, что прадед был плотником, но имя вылетело.

— Не помню, — признался я.

— Вот видишь. — Он поднял портфель. — А у меня записано. Значит, он еще здесь, пока я помню.

Тогда я особо ни о чем не задумывался и быстро потерял к разговору интерес. Только много лет спустя я вспомнил его ответ дословно и понял: старик не любил пугать детей, поэтому сказал мне правду в такой форме, в какой ребенок мог принять ее за назидание.

***

Гринвуд был небольшим городком на равнине, вытянувшимся на несколько улиц вдоль железной дороги. Водонапорная башня здесь казалась выше церковного шпиля, а элеватор у железной дороги — значительнее здания окружного суда. Каждую весну город пах сырой древесиной и навозом: жители одновременно чинили заборы, выводили скот и приводили в порядок вывески.

Люди в Гринвуде обладали необыкновенной памятью на вещи, не имевшие значения. Они помнили дату первого снега в тысяча девятьсот двенадцатом году, победителя ярмарки по свиноводству и каждое слово проповеди, после которой преподобный Уиллетс мог охрипнуть на две недели. Но стоило спросить о человеке, давно не появлявшемся на главной улице, и уверенность покидала их. Лицо еще казалось знакомым, поступки вспоминались обрывками, а имя исчезало первым.

Первой такой потерей, которую я заметил, была Мэрилин Слоу.

Она пришла к нам в класс осенью тысяча девятьсот тридцать первого года с запиской из городского приюта. На зиму ее определили к вдове Слоу, жившей за бойней, и потому девочка получила эту фамилию, хотя, кажется, никакого родства между ними не было. Мэрилин сидела за соседней партой, носила две тугие косички и приносила в школу засушенных бабочек в спичечных коробках. На крышках она писала названия: «капустница», «траурница», «махаон». Я подозревал, что половину названий она выдумала, но спорить не решался — Мэрилин произносила их так уверенно, что рядом с ней даже дохлая моль выглядела редким научным экземпляром.

Весной вдова Слоу слегла, и девочку забрали обратно в приют. В последний школьный день Мэрилин подарила мне коробку с маленькой голубой бабочкой. На крышке было написано: «Голубянка. Не трогать крылья». Я спрятал коробку в карман, пообещал не открывать. Однако я не сдержал обещание уже на следующей перемене.

Через неделю после ее отъезда я разглядывал групповую фотографию, сделанную в начале мая. Мэрилин стояла в заднем ряду, третья слева, однако мать почему-то не подписала ее на обороте.

— А эту девочку почему пропустила? — спросил я. — Мэрилин, третья слева.

Мать долго вглядывалась в девочку с косичками.

— Какая Мэрилин?

— Слоу. Она жила у вдовы за бойней.

— У миссис Слоу никогда не было детей.

— Она из приюта.

Мать перевернула фотографию. На обороте она подписала всех учеников по рядам, слева направо. Между «Джулия Смолл» и «Мэтью Пиви» оставался крохотный промежуток, в который могло поместиться еще одно имя.

— Наверное, приезжая девочка, — сказала мать. — Встала с вами для снимка.

На следующий день я спросил учительницу. Та взяла школьный журнал. Имя Мэрилин Слоу там значилось, рядом стояли отметки за диктанты и арифметику, но учительница решила, что запись относится к ученице, которая выбыла еще до начала занятий.

— Я бы ее помнила, — повторила она несколько раз и наконец рассердилась, словно мое упрямство обвиняло ее в небрежности.

Я не стал больше спорить. В девять лет взрослого невозможно убедить документом, если документ противоречит его памяти. Вечером я сам вписал имя Мэрилин на обороте фотографии. Мать увидела и велела не портить снимок выдумками. Я не стер надпись.

Коробка с голубянкой хранилась у меня много лет. Бабочка рассыпалась в пыль, когда мне было уже за сорок, а имя на картонной крышке осталось. Каждый раз, открывая письменный стол, я видел эти две буквы — «М. С.» — и испытывал странное облегчение: значит, хотя бы одному предмету в Гринвуде не удалось убедить себя, что девочки никогда не существовало.

***

В двадцать шесть лет я вернулся в Гринвуд после нескольких лет учительства в центральном округе и женился на Кэтрин Блэк, дочери владельца скобяной лавки. Мы поселились на Ореховой улице, недалеко от забора, с которого я когда-то задавал вопросы мистеру Фрому.

Кэтрин первой заметила, что за прошедшие годы мистер Фром не постарел ни на день. У нее была цепкая память на лица и редкая неспособность принимать необъяснимое молча.

— Он выглядит точно так же, как на фотографии твоей бабушки, — сказала она однажды.

Снимок был сделан на крыльце в тысяча девятьсот шестом году. Бабушка стояла у перил в светлом платье, а на заднем плане, чуть смазанный, виднелся мужчина в сером пальто с портфелем в руке.

— Может, это его отец, — предположил я. — Или старший брат.

— Тогда почему у них одинаковые пальто, портфели и привычка держать голову чуть набок?

— Семейная черта, — неуверенно усмехнулся я.

Кэтрин посмотрела на меня с жалостью, которую обычно берегла для покупателей, пытавшихся починить водопровод лошадиным клеем, но продолжать разговор не стала. У нас только что родилась дочь, и заботы о младенце вытесняли из головы другие вопросы куда настойчивее, чем мистер Фром.

Мы назвали дочь Эстер, в честь моей матери. Мистер Фром пришел на третий день после ее рождения. Подол его пальто был забрызган жидкой глиной, а на сапогах засохла грязь с Милл-роуд.

Он поклонился Кэтрин, раскрыл книгу и спросил:

— Как назвали?

— Эстер Мэй.

Мистер Фром записал имя, подождал, пока чернила впитаются, и защелкнул портфель. Уже у калитки он задержался и сказал, не оборачиваясь:

— Хорошо, что успел. Дорогу размыло, пришлось идти от самого поворота.

— Разве один день что-нибудь изменил бы? — спросила Кэтрин.

Он посмотрел на окно комнаты, где спала Эстер.

— Иногда день — это просто день. Иногда это все время, которое вам дали.

Тогда его слова показались стариковской склонностью придавать собственной работе излишнюю важность. Но, закрывая за ним калитку, я заметил, что рука мистера Фрома дрожит. Совсем немного, но дрожит.

***

Сын Марты Грирсон родился той же зимой, в январе, во время самой тяжелой метели за десять лет. Снег за ночь сравнял канавы с дорогой и подпер двери домов. Доктор Бейли добирался к Грирсонам на фермерских санях, потому что его автомобиль заглох у элеватора. Роды продолжались почти сутки, но ребенок появился здоровым, с темным пушком на голове. Назвали его Сэмюэлом, в честь отца Марты.

Мистер Фром не пришел ни на третий день, ни на пятый. Южный мост занесло, Милл-роуд закрыли, а возле департамента лопнула труба, и вода превратила дорогу в ледяную полосу. В городе говорили, что даже почтовый фургон развернулся на полпути.

На седьмой день Марта начала спрашивать соседей, не должна ли она сообщить о сыне еще куда-нибудь. Свидетельство о рождении доктор заполнил, в церковную книгу преподобный Уиллетс обещал внести ребенка после крещения, но Марте все равно казалось, что не сделано что-то главное. Кэтрин рассказывала мне об этом и, сама того не замечая, прижимала Эстер крепче.

На девятый день дорогу расчистили. Кэтрин сварила для Марты бульон и попросила меня отнести кастрюлю, пока снова не повалил снег. Я пришел к Грирсонам около полудня. Марта сидела у печи с ребенком на руках. Она выглядела измученной, но счастливой. Сэмюэл спал, спрятав лицо у нее на груди, и время от времени шевелил губами.

Пока я ставил кастрюлю на плиту, Марта дважды назвала сына просто малышом, хотя прежде произносила его имя при каждой возможности. Потом заметила вышитую букву «С» на

одеяле и спросила, зачем она ее сделала. Сама же рассмеялась, поцеловала ребенка в макушку и сказала, что от недосыпа мать способна забыть даже собственные руки. Я рассмеялся вместе с ней, хотя мне следовало испугаться.

Внезапно мы услышали стук. На пороге стоял мистер Фром. Пальто обледенело по подолу, волосы прилипли ко лбу. Он, должно быть, прошел последнюю милю пешком.

— Простите, — сказал он вместо приветствия и тотчас раскрыл портфель.

Книга легла на стол. Серебряная ручка оказалась в его пальцах быстрее, чем Марта успела подняться.

— Как назвали?

Марта улыбнулась, посмотрела на сына и открыла рот.

— Сэм…

Она остановилась.

Улыбка исчезла не сразу. Сначала дрогнули ее губы, затем взгляд перешел с ребенка на мистера Фрома, с мистера Фрома — на меня. Марта снова попыталась произнести имя, но выдохнула только первую букву.

Ребенок проснулся и заплакал. Она вздрогнула, словно услышала плач из чужого дома, и отстранила его от себя.

— Марта, — сказал я. — Это Сэмюэл.

Она посмотрела на меня, не понимая.

— Ваш сын. Сэмюэл Грирсон.

Мистер Фром опустил перо на страницу. Я увидел, как появилась буква «С», затем следующая. Чернила собрались мелкими каплями, будто бумага была натерта воском. Он провел пером еще раз, сильнее. Капли соединились, скатились к сгибу и исчезли, не оставив следа.

— Я назвал его, — сказал я. — Вы слышали. Пишите.

— Я слышал.

— Тогда пишите!

Он попробовал снова. На этот раз перо даже не коснулось страницы: рука остановилась в нескольких волосках от бумаги, удерживаемая невидимым сопротивлением. Мистер Фром закрыл глаза.

— Знать имя недостаточно, — произнес он.

Марта поднялась. Ребенок продолжал плакать у нее на руках, и она держала его неловко, как сверток, который ей передали на минуту.

— Чей это ребенок? — спросила она. — Кто принес его в мой дом?

С улицы донесся голос Джона Грирсона. Он отряхивал снег у крыльца и звал жену. Марта шагнула к двери, потом остановилась, потому что не знала, что объяснять мужу.

Мистер Фром закрыл книгу без записи. Щелчок застежки прозвучал громче детского плача.

— Сделайте хоть что-нибудь, — потребовал я.

— Уже поздно.

Он произнес это так, как однажды доктор Бейли сообщил соседу, что ногу придется отнять: очень тихо, потому что громкость не могла изменить ничего.

Джон вошел, увидел ребенка и спросил то же, что Марта. В последующие дни вопрос повторяли соседи, доктор, преподобный Уиллетс. Все соглашались, что младенец каким-то образом оказался у Грирсонов во время метели, но никто не мог вспомнить родов, ночных саней у крыльца или имени, которым еще недавно называл его весь околоток.

Я принес Джону свидетельство о рождении. На бумаге ясно значилось: «Сэмюэл Грирсон, мужской пол, родители — Джон и Марта Грирсон». Джон прочитал, нахмурился и вернул лист.

— Бейли перепутал бумаги. Марта никогда не была беременна.

— Ты сам ездил за доктором.

— В такую метель? Я бы помнил.

Доктор Бейли признал свой почерк и подпись, но решил, что вписал не ту фамилию. Преподобный Уиллетс обнаружил в блокноте заметку о предстоящем крещении и перечеркнул ее как ошибочную. Бумага сохранила все, но она не могла заставить людей узнать написанную правду.

Ребенка кормили и укрывали от холода. Марта плакала, когда он плакал, хотя не понимала почему. Несколько раз она брала его на руки по материнской привычке и тут же пугалась собственной нежности. Через месяц окружной попечитель решил, что младенца следует отправить в приют.

Я поехал вместе с ним. В приемной женщина в сером платье развернула одеяло, осмотрела ребенка и спросила:

— Имя есть?

Попечитель пожал плечами.

— Найденыш. Назовите как-нибудь для журнала.

— Сэмюэл, — сказал я.

Женщина посмотрела сначала на меня, затем на ребенка.

— Вы родственник?

— Нет.

— Откуда знаете?

Я мог рассказать ей о книге мистера Фрома, о чернилах, не пожелавших остаться на странице, и о матери, забывшей сына у себя на руках. Вместо этого я ответил:

— Он похож на Сэмюэла.

Женщина усмехнулась, но наклонилась к ребенку.

— Сэмюэл, — повторила она уже ему. — Что ж, маленький Сэм, будем знакомы.

Он перестал плакать и ухватил ее за палец. Она вписала имя в журнал. Фамилию ему дали приютскую — Рид, одну из тех коротких фамилий, которыми учреждение снабжало детей, чтобы на них можно было заводить карточки.

Когда мы уезжали, женщина держала Сэмюэла у окна. Я поднял руку. Она ответила его ладонью, хотя он, конечно, не мог понять, с кем прощается.

***

После истории с Сэмюэлом я пришел к мистеру Фрому. Нет, не из любопытства, оно и вправду кончается там, где человек видит, как мать перестает узнавать ребенка. Я хотел понять, почему моя память оказалась бесполезной и можно ли вернуть то, что исчезло у меня на глазах.

Дом мистера Фрома стоял за старой мельницей. Низкое строение из серого камня я много раз видел издали, но ни разу не задерживал на нем взгляд. Парадная дверь выходила к дороге, однако следы вели к боковой. Туда я и постучал.

За дверью достаточно долго не было слышно шагов. Потом скрипнула половица, щелкнул засов, и мистер Фром открыл дверь. На нем не было пальто, и без привычной одежды он казался меньше ростом.

— Заходите, — сказал он. — Я ждал вас после Грирсонов.

Первое, что меня встретило, — это запах ветхой бумаги и печной заслонки. На полках стояли книги, одинаковые по высоте и разные по степени изношенности. На столе лежал раскрытый том, значительно старше того, который мистер Фром носил по домам.

На внутренней стороне обложки я прочитал выцветшую надпись: «Элиас Натан Фроммер. Смотритель регистра Гринвуда». Так я узнал его настоящее имя. Ниже стояла дата, но край кожи стерся, и две последние цифры разобрать было невозможно.

— Вы все-таки регистратор? — спросил я.

— Это ближайшее человеческое слово.

— Почему книга не приняла имя Сэмюэла?

Мистер Фром сел и указал мне на стул напротив.

— Потому что имя произнесли вы.

— Какая разница? Оно было правильным.

— Правильность здесь ни при чем. Эта книга не проверяет, как человека зовут. Она закрепляет связь между ним и теми, кому он принадлежит, — не как вещь, а как часть жизни. Пока Марта говорила «мой сын», я мог записать имя. Когда она перестала понимать, о ком говорит, ваша память уже ничему бы не помогла.

— Но я помню его.

— Вы стоите на берегу и видите оборванный мост. Оттого, что вы помните другую сторону, мост не становится целым.

Я спросил, почему связь вообще может оборваться.

Мистер Фром провел пальцем по краю старой книги.

— В первые дни ребенок удерживается любовью нескольких людей. Этого достаточно, чтобы он был сыном, дочерью, внуком. Но общая память больше одной семьи. Имя должно войти в нее прежде, чем первая связь начнет остывать. До заката третьего дня запись принимается легко. После третьего дня каждый час уже взят взаймы. Большинство семей удерживает ребенка неделю. Марта держала Сэмюэла девять дней. Дольше, чем многие.

— И ваша книга делает память вечной?

— Нет. Ничто человеческое не бывает вечным. Она делает ее общей. После записи имя может жить в соседях, документах, рассказах, даже в неприязни. Человека могут забыть по обычным причинам, но мир больше не станет отрицать, что он кому-то принадлежал.

— Свидетельство Сэмюэла сохранилось.

— Сохранились буквы. Вы сами увидели разницу.

Я вспомнил Мэрилин Слоу и рассказал о фотографии, школьном журнале и коробке с голубянкой.

Мистер Фром выслушал, не перебивая.

— Иногда ребенку дают новое имя уже после разрыва, — сказал он. — В приюте, в чужом доме, на пороге церкви. Если находится человек, который повторяет это имя не ради карточки, а обращаясь к самому ребенку, возникает новая связь. Она не возвращает прежнюю. Мэрилин была одной из тех, к кому я не успел. Пока она жила у вдовы и каждый день сидела перед вами, город узнавал ее заново. Когда она уехала, узнавать стало некого.

— Почему тогда я не забыл?

Вместо ответа мистер Фром поднялся, снял с верхней полки тонкую книгу и раскрыл ее ближе к середине.

— Какой год вашего рождения?

Я назвал.

Он нашел страницу. На ней, между именами двух моих одноклассников, мое имя было написано дважды. Первая запись казалась бледной, словно чернила впитались слишком глубоко. Вторая лежала поверх страницы четко и темно.

— В ночь вашего рождения ручка оставила имя, а к утру оно исчезло почти целиком, — сказал мистер Фром. — Такого не случалось ни до, ни после. Я вернулся и записал вас снова, прежде чем взошло солнце.

— Что это значит?

— Вы привязаны к памяти Гринвуда двумя узлами. Обычно человек не видит мест, где полотно разошлось. Вы видите. Иногда удерживаете то, что должно было выпасть.

— Зачем вы позволили мне помнить Сэмюэла, если я не мог помочь?

— Я ничего вам не позволял.

В его голосе впервые прозвучало раздражение.

— Эта работа не дает мне власти над памятью. Она дает лишь обязательство, точнее обязанность приходить вовремя. Я опоздал. Вы оказались рядом и теперь хотите, чтобы у случившегося была причина, достойная вашей боли. Причины нет. Была закрытая дорога, девять дней и человек, который не успел.

Он отвернулся к печи. Я понял, что все эти недели считал виноватым его и лишь теперь увидел: мистер Фром обвинял себя без моей помощи. Я посмотрел на полки.

— Сколько раз вы не успели?

Мистер Фром на миг призадумался.

— Меньше, чем вы думаете. Больше, чем мне позволено забыть.

— А сколько лет вы этим занимаетесь?

Он закрыл старую книгу так, что надпись с полным именем скрылась.

— Вы пришли говорить о детях. Оставьте мне хотя бы одну тайну, которая никому не причиняет вреда.

Перед моим уходом он коснулся пальцем двойной записи.

— Не пытайтесь рассказывать Грирсонам одно и то же каждый день. Память не вернется, а ваша настойчивость сделает их жестокими к ребенку, которого они считают чужим.

— Что же мне делать с тем, что я помню?

— Пока не знаю, — сказал мистер Фром. — Возможно, однажды это придется решить вам.

***

Эстер росла любопытной и упрямой. Она ходила в ту же школу, где когда-то училась Мэрилин, где когда-то учился и я, задавала вопросы о небе и гусях и сердилась, если мы с Кэтрин пересказывали при гостях ее детские слова. Ни одного дня Эстер не приходилось заново доказывать окружающим, что она наша дочь.

Второй ребенок родился пять лет спустя, в конце ноября, на две недели раньше срока. Это был мальчик, крепкий, несмотря на раннее появление, и очень громкий. Доктор Бейли уверял, что причин для тревоги нет, но я не спал первую ночь. Считал часы и перебирал имена.

После Сэмюэла имя перестало казаться мне семейным украшением. Я хотел выбрать такое, которое защитит сына от случайности, болезни и чужого равнодушия. Отвергал имена дедов как слишком простые, библейские — как слишком тяжелые, имена президентов — как самонадеянные. Кэтрин сначала спорила, затем предоставила мне право мучиться в одиночестве.

На третий день пришел мистер Фром. Портфель был собран, ручка заправлена. Он поклонился Кэтрин и раскрыл книгу.

— Как назвали?

Мы молчали.

— Еще не решили, — признался я.

Мистер Фром взглянул на часы.

— До заката меньше шести часов.

— Вы говорили, что иногда есть неделя.

— Иногда. — Он прищурился и слишком строго повесил на меня взгляд. — Хотите проверить, относится ли ваш сын к этому случаю?

В дверь постучали. На пороге стояла девушка из телеграфной конторы. Щеки у нее покраснели от ветра, в руке она держала сложенный бланк.

— Мистер Фром? На почте сказали, что вы пошли сюда.

Он принял телеграмму и прочитал. Потом подошел к окну. Ноябрьское солнце уже касалось крыш домов.

— Что случилось? — спросила Кэтрин.

— На ферме Гарднеров за Северным бродом шесть дней назад родились две девочки. Телефонная линия оборвана. Их назвали Эмма и Роуз. Вода поднимается, к вечеру мост закроют.

Он сложил бланк и убрал в карман.

— Вам нужно ехать, — сказал я.

— Нужно.

Но он не закрыл книгу.

Я снова начал перебирать имена, теперь вслух, быстро и бессмысленно. Каждое казалось либо недостаточно хорошим, либо выбранным из страха. Мистер Фром слушал несколько секунд, затем положил ручку рядом с книгой.

— Имя не обязано вмещать всю будущую жизнь, — сказал он. — Ему достаточно позвать человека к столу.

Кэтрин посмотрела на сына. Он спал у нее на руках, не подозревая, что трое взрослых пытаются подобрать слово, без которого солнце почему-то не имело права садиться.

— Бен, — сказала она. — Пусть будет Бен.

Имя было простым. Именно поэтому я отвергал его все три дня. Но, произнесенное Кэтрин, оно тут же стало принадлежать ребенку. Я услышал не деда, не святого и не обещание великой судьбы. Я услышал, как через несколько лет жена позовет мальчика с крыльца, как Эстер пожалуется на Бена за разбитое окно, как я сам произнесу его имя сердито или с гордостью.

— Бен, — повторил я.

Мистер Фром записал. Чернила, как и положено им, быстро впитались в бумагу. Он не стал ждать дольше необходимого, закрыл книгу, взял портфель и телеграмму.

— Успеете к Гарднерам? — спросила Кэтрин.

— Теперь — возможно.

Он ушел, и через минуту мы услышали, как у перекрестка завелся почтовый фургон. Девушка из конторы уговорила водителя везти мистера Фрома до брода.

Позже я узнал, что мост закрыли как раз после их проезда. В местной газете появилась короткая заметка о близнецах Гарднер — Эмме и Роуз, родившихся во время ноябрьского разлива. Я вырезал ее и положил в коробку с семейными бумагами.

Иногда мне казалось, что в тот день Кэтрин дала имя не одному ребенку, а троим.

***

Бен вырос сначала обычным мальчиком, потом обычным мужчиной, что, как я понял с возрастом, является одним из самых благополучных исходов родительских надежд. Он женился, уехал в столицу штата и присылал письма на Рождество. Эстер осталась в Гринвуде и вышла замуж за учителя географии, у которого я когда-то принимал экзамен.

Сэмюэла из приюта усыновили супруги Кертис. Они сохранили имя, данное ему при рождении, и заменили только фамилию. Я видел его несколько раз: сначала подростком на ежегодной ярмарке, позднее взрослым мужчиной у магазина сельскохозяйственных машин. В этот раз он держал на плечах маленькую девочку. Пожилая миссис Кертис позвала его через площадь:

— Сэм, подойди, помоги отцу!

Он повернулся еще до того, как она закончила фразу. В этом движении не было ничего чудесного. Сын услышал мать — не ту, которая родила его, а ту, чей голос знал всю сознательную жизнь.

Я подошел и спросил, не Сэмюэл ли он Кертис.

— Да, сэр. А мы знакомы?

Он смотрел открыто и вежливо. У него были глаза Джона Грирсона и привычка Марты при волнении прижимать язык к верхней губе.

— Нет, — ответил я. — Я знал человека с таким же именем.

— Надеюсь, хорошего.

— Очень хорошего. Просто слишком маленького, чтобы успеть это доказать.

Сэмюэл рассмеялся, решив, что старик неудачно пошутил, и пошел к родителям. Девочка на его плечах держалась за его волосы и звала его папой.

Я мог остановить его. Мог показать свидетельство, которое хранил все эти годы, привести к Грирсонам, заставить три семьи смотреть друг на друга поверх правды, не способной стать воспоминанием. Но слова мистера Фрома о втором доме наконец обрели смысл. Прошлое Сэмюэла принадлежало мне, его жизнь принадлежала ему. Я не имел права ломать новую связь ради того, чтобы облегчить тяжесть прошлого. Марта и Джон Грирсон умерли, так и не вспомнив родного сына.

Мистер Фром пережил мое детство, молодость и старость. Он продолжал ходить по улицам с тем же портфелем и в том же сером пальто. Иногда мне хотелось снова спросить, почему время обходит его, но с годами я научился уважать тайны, не требующие жертвы.

В последний раз я увидел его с крыльца дома на Ореховой улице. Мне было уже трудно вставать без трости. Мистер Фром направлялся к дому Эстер: за три дня до этого моя дочь родила мальчика.

Я поднял руку. Он остановился у калитки.

— Уже выбрали имя? — спросил он.

— Да. Они решили еще месяц назад.

— Разумные люди.

Мистер Фром хотел идти дальше, но я окликнул его.

— Что происходит с именами, которые вы не успели записать?

Он посмотрел на портфель.

— В моей книге их нет.

— Значит, они исчезают окончательно?

— Вы все еще помните Сэмюэла?

— Да.

— А девочку с бабочками?

Я не удивился тому, что он помнит наш давний разговор.

— Мэрилин Слоу.

— Тогда вы уже знаете ответ.

— Но после моей смерти их не вспомнит никто.

Мистер Фром снял шляпу. За все годы его лицо не изменилось, однако в тот день я впервые увидел в нем не пожилого человека, а просто усталого служащего, которому предстоит еще один дом до заката.

— Моя книга хранит тех, кого я успел связать с общей памятью, — сказал он. — Для остальных нужна другая книга.

— Кто должен ее вести?

— Тот, кто помнит.

Он кивнул и пошел к дому дочери. Через несколько минут оттуда донесся знакомый щелчок латунной застежки. Итан был записан вовремя.

Поэтому я и оставляю этот рассказ. Не ради тайны мистера Фрома и не для того, чтобы доказать существование книги за мельницей. Доказательства бессильны там, где человек заранее не способен узнать правду.

Я пишу ради Мэрилин Слоу, которая сушила бабочек и подписывала их названия увереннее любого ученого. И ради мальчика, родившегося в январскую метель. Марта держала его связь с миром девять дней. Потом он стал Сэмюэлом Ридом, затем Сэмюэлом Кертисом, сыном других родителей и отцом девочки, которая ездила у него на плечах.

Имя не делает человека человеком, и забвение не способно отнять у него этого права. Но имя указывает другим, куда повернуть голову, когда он отзывается. Оно оставляет для него место в рассказе, на фотографии, за семейным столом.

У меня осталось мало времени. Рука быстро устает, чернила ложатся неровно. Я написал его первое имя еще раз — медленно, как мистер Фром писал имена новорожденных, — и не стал дуть на страницу. Пусть чернила высохнут сами. **Сэмюэл Грирсон.**

Дом Морроу

Письмо от Генри принесли во вторник, вместе со счетом за мазут, который я велела больше не доставлять.

До конца месяца я собиралась закрыть дом. Луиза нашла покупателя через знакомую, и в пятницу люди должны были приехать посмотреть комнаты. Я уже разобрала верхние шкафы, сняла летние занавески и вымыла за ними окна. На чистых стеклах сразу стали заметны паутинки в углах рам. Генри говорил, что осенью пауков следует оставлять в покое. Я оставила, хотя теперь не могла вспомнить, объяснял ли он когда-нибудь, почему.

Ночью пошел дождь. Водосточная труба у спальни засорилась, вода переливалась через край и стучала по жестяному подоконнику. Раньше от этого звука Генри просыпался, ругался и шел искать лестницу. Я лежала до утра, слушая, как переполняется желоб. В доме находилось достаточно вещей, которыми я умела пользоваться. Лестница к ним не относилась.

К девяти дождь кончился. Солнце осветило мокрый асфальт между тенями кленов. По дороге тянулись широкие оранжевые полосы: листья сбивались в них от каждого проехавшего автомобиля. Мальчик из дома напротив волок к обочине тыкву, обхватив ее обеими руками. Мать вышла следом и велела ему сначала надеть ботинки. Он поставил тыкву в лужу и пошел обратно на цыпочках, словно это могло сохранить носки сухими.

Я смотрела на них из кухни. На столе стояли три чашки, отобранные для Луизы, и одна с отколотым краем. Последнюю я оставляла себе. Хорошие чашки требовали, чтобы к ним отыскали хорошие блюдца, а мне надоело искать пары.

Когда хлопнула дверца почтового ящика, я уже знала, что пойду к нему сразу.

Почтальон Уолтер Уэст придерживал сумку локтем, застегивая плащ. За лето он заметно располнел, и нижняя пуговица теперь сходилась с трудом. Я открыла калитку прежде, чем он добрался до соседнего дома.

— Уолтер.

Он обернулся.

— Очередной журнал?

— Посмотри, Эдит.

В ящике лежали счет, реклама магазина обоев и кремовый конверт. Бумага у нижнего края была чуть темнее, будто на нее пролили чай и высушили. Мое имя Генри написал с сильным наклоном вправо. У буквы «Э» нижняя дуга ушла под следующую, как всегда, когда он торопился. Я взяла конверт двумя пальцами.

Уолтер посмотрел на него, потом на меня. Он остался стоять у калитки. Ему, должно быть, хотелось сказать что-нибудь подходящее.

— Дороти дома, — сказал он наконец. — Я только от нее. Машина у крыльца.

— Мне ничего не нужно.

— Хорошо. Тогда я пойду, пока опять не началось.

Он поднял воротник и пошел дальше. На спине плаща осталась светлая сухая полоса от сумки.

Я проверила адрес. Наш дом, наша улица. Обратного адреса не было. Поверх марки лежал круглый штемпель, в котором читались название города и месяц. Число смазалось.

В первую осень после смерти человека здесь иногда получали его письмо. Никакого дня для этой почты не назначали. Она приходила с каталогами, счетами, извещениями о посылках. Кто-нибудь находил конверт между страницами газеты, кто-нибудь ронял на мокрое крыльцо. Письма оказывались длинными или короткими, написанными за неделю до смерти или за несколько десятилетий до нее. Миссис Эллер получила от матери рецепт консервированных груш с припиской о том, как трудно стало открывать банки. На обороте мать просила вернуть

ей круглую форму для пирога. Форму миссис Эллер отдала соседке лет за десять до этого и потом весь ноябрь ходила по чужим кухням, разыскивая ее.

Про Генри я была уверена, что от него придет. При жизни он почти никогда этого не делал, но после тридцати пяти лет брака у нас должно было остаться достаточно недосказанного.

Он умер в феврале. Последние месяцы спал внизу, в комнате у кухни, потому что лестница стала ему тяжела. Я научилась различать его кашель сквозь сон, зажигать плиту в темноте, застегивать пуговицу на его воротнике так, чтобы не задеть пальцами шею. Иногда он злился на мои руки и отворачивался. Иногда ловил их и держал у себя на груди, пока снова не засыпал.

После похорон я несколько недель продолжала просыпаться в пять сорок. В это время ему давали первую таблетку.

Мне было пятьдесят шесть, и я никак не могла привыкнуть к тому, что за весь день можно ни разу не произнести вслух собственного мнения. На работе я двадцать два года отвечала за школьную столовую. Дома отвечала почти за все остальное. Теперь разговор начинался только после телефонного звонка, и чаще всего Луиза спрашивала, поела ли я. Я отвечала, что поела, даже когда еще собиралась.

Письмо я отнесла на кухню. Подложила под счет тарелку, чтобы он не намок на столе, убрала чашки в коробку. Потом достала из ящика нож, которым Генри чистил яблоки. Лезвие давно истончилось и хорошо проходило под склеенным клапаном.

Я приготовилась увидеть слова «моя дорогая». В больнице он однажды назвал меня так при сестре, и я рассердилась: слишком уж окончательно это прозвучало.

На листе стояло: «Эдит».

Ниже — семнадцатое октября тысяча девятьсот сорок восьмого года.

Я подняла голову к календарю, висевшему у двери. На нем был нарисован красный амбар среди желтых деревьев. Сорок восьмой год отстоял от этой кухни на двадцать восемь лет. В ту осень Луизе было пять. Моя мать еще могла сама дойти до церкви. Генри только вернулся на фабрику после травмы плеча.

Я снова посмотрела на лист.

«Эдит.

Я договорился о работе в Толидо. Берут со следующего понедельника. Фрэнк нашел комнату у женщины, которая сдает двум рабочим. Плата небольшая, еда отдельно. В субботу я уеду.

Деньги на ноябрь оставлю в жестяной коробке. Дальше стану присылать каждую неделю, как получу расчет. Ты знаешь, я не оставлю тебя с Луизой без денег. За уголь уплачено до Рождества. Мистеру Кроули надо напомнить про дымоход, я говорил с ним в среду.

Наверное, следовало сказать все это за столом. Я пробовал вчера после ужина. Ты велела сначала вытереть посуду, потому что, если она постоит мокрой, останутся разводы. Потом пришла твоя мать. Потом ты спросила, отчего я такой кислый, и сама ответила, что плечо опять ноет. Оно действительно ныло. Я позволил тебе ответить за меня и ушел спать.

Сегодня ты сказала Фрэнку, что я люблю наш город и никогда не соглашусь жить возле заводов. Я стоял рядом. Ты держала мою руку, пока говорила. Я смотрел, как шевелится рот, который я целую, и думал, что лучше бы ты отпустила руку. Мне было стыдно так думать.

Я не знаю, сколько еще смогу возвращаться домой, где обо мне уже все известно. Генри устал. Генри не любит ездить. Генри не станет менять работу. Я молчу, и ты принимаешь это за согласие. Иногда мне удобнее промолчать. Потом я ненавижу тебя за ответ, который сам разрешил дать.

Ты скажешь, что я напугался жизни. Возможно. Последние два года я все время чего-нибудь пугаюсь. Даже твоих хороших идей. Ты успеваешь объяснить, как будет лучше, раньше, чем я соображу, чего хотел.

Я устал от тебя, Эдит. Пишу это и понимаю, как ты будешь читать. Ты запомнишь именно эту строку. Но сейчас так и есть. Иногда мне хочется войти в комнату, где никто не обрадуется, потому что никто меня еще не знает. Сесть. И чтобы у меня не спрашивали, почему я сижу.

Луизе я скажу сам. Пожалуйста, до субботы ничего ей не говори.

Ты вчера заснула у машинки в моем свитере. Я стоял в дверях и хотел тебя разбудить. Хотел лечь рядом. Если бы разбудил, сегодня не написал бы. Я уже два раза рвал бумагу.

Мне нужно уехать.

Генри».

На кухне щелкнул холодильник.

Я перевернула лист. Оборот был пустой. В конверте ничего не осталось. Я провела пальцем по внутреннему шву, заглянула в него, держа к окну. Потом прочла письмо с самого начала, чтобы отыскать место, которое поняла неправильно.

Во второй раз меня остановил уголь.

В сорок восьмом мы покупали его по полтонны. Если Кроули привозил мокрый, Генри спускался в подвал и ругался с ним там, между мешками. Один раз привезли такой плохой уголь, что печь погасла ночью. Я помнила это. Помнила, как мы грели Луизе молоко на маленькой керосинке, как Генри держал ее носки у огня. Он обжег один по пятке, и я смеялась, потому что утром девочка обвинила мышей.

Я отлично помнила ту осень.

Я села, не отодвинув стула, и больно ударилась коленом о ножку. Письмо осталось на столе. В нем Генри по-прежнему собирался уехать в субботу.

***

Дороти пришла в половине двенадцатого. В одной руке она держала кастрюлю, в другой — мокрый зонтик, хотя дождя еще не было. По дороге с клена на нее вылилась вода.

— Я сварила слишком много, — сказала она с порога. — Возьми, пока не передумала. Вчера морозила фасолевый, теперь некуда ставить.

— У меня есть еда.

— Я и не говорю, что у тебя нет еды. Подержи. Он течет.

Я забрала зонтик и поставила в раковину. Дороти прошла к плите, подняла крышку своей кастрюли и помешала суп ложкой, которую тут же достала из моего ящика. Мы жили через два дома двадцать семь лет. Она хорошо знала, где у меня ложки. Я все равно каждый раз успевала повернуться в ту сторону.

— Уолтер сказал? — спросила я.

Дороти поставила ложку на блюдце.

— Сказал.

— Он не должен был.

— Он ничего не рассказывал. Сказал, тебе принесли письмо.

— Это и есть рассказать.

Она посмотрела на меня. Потом сняла пальто.

— Хорошо. Я пришла из-за письма. Суп у меня тоже был. Его мне надо унести обратно?

— Нет.

— Тогда дай чашку. Кофе еще есть?

Я налила ей кофе. Себе забыла налить, заметила это, когда мы уже сели, и осталась за столом с пустой чашкой.

Дороти ждала. За окном мальчик поставил тыкву на верхнюю ступеньку крыльца, где она теперь качалась от каждого порыва ветра. Его мать вышла и повернула ее плоским боком вниз.

— Давно написано? — спросила Дороти.

— Двадцать восемь лет назад.

— Господи.

Она хотела взять меня за руку, но я потянулась к чашке.

— Он собирался уйти.

Дороти не сразу поняла.

— Куда?

— От меня. В Толидо. Устроился там на работу. Оставлял деньги, уголь, велел позвать трубочиста. Все предусмотрел.

Она поставила чашку.

— Дай посмотреть.

— Зачем?

— Ты сама сказала.

— Я сказала. Показывать не собиралась.

— Тогда не показывай.

Она отодвинула руку. Мне вдруг стало обидно, что отодвинула так легко.

— Он пишет, что устал от меня, — сказала я. — Представляешь? Именно так. Я его месяцами умывала, брила, поднимала ночью. Он не мог попасть рукой в рукав, я стояла и держала рубашку. И вот что он мне прислал.

— Эдит, он писал тогда.

— Я вижу дату.

— Я знаю. Просто ты говоришь про рубашку, а он в тот год сам одевался.

— Спасибо. Ты очень помогла.

Дороти поджала губы. Она мешала кофе, хотя пила без сахара, и ложка ударяла о край чашки. Я следила за ложкой. Однажды Генри попросил меня так не делать. Сказал, что от этого звука зубы сводит. Я ответила, что ему следует показаться дантисту.

— Он все равно прожил с тобой всю жизнь, — сказала Дороти. — Я помню, как вы переделывали крыльцо. Помню вашу серебряную свадьбу. Человек может со злости написать многое. У Пола тоже бывало…

— Он не ругался. Он написал про уголь.

— Что?

— Если бы он ругался, я бы поняла. Здесь все спокойно. Я прочла два раза. Он решил, сколько оставит денег, куда положит, что скажет дочери. Это надо было сидеть и обдумывать, Дороти. Пока я, наверное, мыла посуду.

— А может, ты спала.

Я посмотрела на нее.

— Я к тому, что мы не знаем, — быстро добавила она. — Ты опять уже решила, как было. Может, его через час самого ужаснуло. Он же тогда не отправил.

— Зато потом отправил.

Дороти посмотрела на письмо.

— Но мы ведь не можем точно знать, зачем.

Я встала и подошла к раковине. С конца зонтика капало в слив. Мне хотелось заткнуть его тряпкой: слишком отчетливо раздавался каждый удар.

Дороти больше не говорила. Я слышала, как она подвинула стул, и решила, что уходит, но она только сняла с плиты кастрюлю, чтобы суп быстрее остыл.

— Посиди, — сказала я.

— Я сижу.

Я повернулась к ней. Дороти смотрела вниз, на свои колени. У нее был оторван нижний крючок на юбке, она скрепила пояс большой булавкой. Раньше я непременно предложила бы принести иголку.

— Я ждала другого, — спустя немного времени сказала я.

Она кивнула.

— Наверное, каждый ждет.

— Не надо говорить про каждого. Я ждала. Хотела узнать, что он не сердился на меня в больнице. Я звала сестру, когда он велел не звать. Он очень рассердился. Последний раз, когда ясно говорил. Потом он уже…

Мне не хватило воздуха. Я стояла у раковины, вцепившись в ее край, и пыталась вдохнуть потише, чтобы не услышала Дороти. Она встала, подошла и обняла меня так крепко, что я почувствовала булавку сквозь ткань.

Я заплакала ей в плечо. Она все время гладила меня по спине, но однажды промахнулась и попала ладонью по затылку. Это было неловко, и я вдруг вспомнила, как Генри, обнимая меня в последний год, каждый раз путался в поясе моего халата. От воспоминания стало еще хуже.

Потом мы съели суп. Он был слишком густой, с разварившейся перловкой. Дороти без разрешения разбавила его водой, попробовала, досолила. Я смотрела, как она хозяйничает на моей кухне, и позволяла ей.

Уходя, она задержалась возле коробки с чашками.

— У тебя все еще пятница?

— Все еще.

— Луиза приедет?

— Завтра.

— Скажи ей сама. Уолтер до нее не доберется, он за мостом не разносит.

Я даже улыбнулась.

После Дороти в доме остался запах мокрой шерсти. Я открыла окно на кухне, но через несколько минут замерзла и закрыла. Письмо лежало в ящике под чистыми полотенцами. Я спрятала его туда и дважды доставала, прежде чем стемнело.

***

Луиза приехала на следующий день около трех. К тому времени ветер высушил верхние листья, и теперь они скреблись о сетку задней двери, как когда-то наш золотистый ретривер пытался войти с короткими когтями. Нижний слой так и лежал на дорожке, темный и скользкий. Я собиралась убрать его после обеда, но нашла в шкафу старую скатерть и просидела над ней почти час.

На скатерти сохранилось пятно от вишневого сиропа. Генри опрокинул банку на нашем двадцатилетии. Он тогда надел новый галстук, который Луиза выбрала ему в подарок, и весь вечер прижимал его к груди ладонью, наклоняясь через стол. Банку все равно задел. Гости смеялись, я бросилась за солью, а Генри помогал мне с таким виноватым лицом, что я наконец тоже засмеялась. Теперь я держала ткань возле окна и разглядывала пятно. Пыталась вспомнить, как он смотрел на меня до того, как задел банку.

У Луизы заклинило багажник. Я увидела из окна, как она ударила по крышке ладонью, потом коленом, а потом встала посреди улицы и сказала несколько слов, которых прежде при мне не говорила. Багажник открылся.

Она привезла пустые коробки, яблоки и пачку газет для посуды. Яблоки купила по дороге, у фермера, торговавшего прямо из кузова.

— Он просил доллар за корзину, — сказала она. — Представляешь? Я думала, за фунт, уже вытащила деньги. Потом пришлось брать целиком. Теперь они везде. Два закатились под сиденье, Нил всю зиму будет их искать.

— Зачем ему искать всю зиму? Можно достать сейчас.

— Можно, мама.

Она подняла на меня глаза и улыбнулась. Улыбка была как у Генри: сначала растягивался один угол рта, потом другой. Я отвернулась к чайнику.

— Холодно у тебя.

— Я стараюсь меньше топить.

— Ты надела два свитера. Сколько остается до отъезда, три недели? Даже если продашь завтра, завтра ведь не выедешь.

— Я знаю.

— Тогда включи отопление. Или я включу.

— Ты приехала пять минут назад.

Луиза медленно поставила корзину на стол.

— Верно. Я еще могу уехать.

— Не говори глупостей. Сними пальто, садись. Я приготовила курицу.

Она стояла, не расстегиваясь.

— Что случилось?

— Пришло письмо от отца.

Луиза сразу вынула руки из карманов.

— Вчера?

— Вчера.

— Почему ты не позвонила?

— Ты работала.

— Вечером я дома. Где оно?

Я достала конверт из ящика, но не протянула ей. Луиза посмотрела на мои руки.

— Можно?

— Сначала поедим.

— Мама, ты только что сказала, что пришло письмо от папы. Какая курица?

— Остывшая. Если мы еще постоим.

Она сняла пальто, повесила на спинку стула и села. Я поставила тарелки, вынула курицу из духовки. От тепла запершило в горле. Я была благодарна духовке: она позволяла долго стоять спиной к дочери, занявшись чем-нибудь полезным.

За столом я рассказала ей все. Несколько предложений прочла вслух. Про уголь, про Толидо, про то, как держала Генри за руку. Строчку о том, что он устал от меня, произнести не смогла. Просто подвинула лист через стол и указала на нее ногтем. Когда Луиза захотела перевернуть страницу, я взяла письмо обратно.

Она долго жевала один и тот же кусок. Потом положила вилку.

— Сколько мне было?

— Пять.

— И он уехал?

— Нет. Ты ведь знаешь.

— Я знаю то, что помню. В пять лет можно многого не заметить. Он никогда не ездил к дяде Фрэнку?

— Ездил. Позже. В пятьдесят втором, когда у Фрэнка сняли легкое.

— Значит, остался.

— Уголь был куплен до Рождества, — сказала я.

Луиза взглянула на конверт, будто там находилось объяснение этой фразы.

— Мама, я не понимаю. Что ты хочешь узнать?

— Почему он остался.

— Может, потому что хотел.

— А может, из-за тебя.

Она откинулась на спинку стула.

— Ну, спасибо.

— Я не говорю, что ты виновата.

— Конечно. Мне было пять. Я вообще не участвовала в этом разговоре, пока ты меня туда не посадила.

— Не надо сердиться.

— Я пока только начинаю. Дай письмо.

— Это мне.

Луиза покраснела. Она всегда краснела раньше, чем начинала плакать, еще девочкой, и я приготовилась встать за платком. Но она только сильнее уперлась локтями в стол.

— Тогда зачем ты читаешь мне по строчке? Зачем выбираешь то, после чего я должна сказать что-нибудь ужасное об отце? Он умер восемь месяцев назад, я ни одного слова от него не получила. Думала, у него найдется хотя бы записка дочери. Сегодня ты говоришь, что письмо пришло. Я даже пальто не успела снять, уже обрадовалась. А теперь мне показывают пальцем, куда смотреть.

— Я ничего не выбираю.

— Ты только что забрала лист.

— Я не могу отдать его тебе сейчас.

Она замолчала. Я увидела, что ногтем большого пальца она ковыряет старую царапину на столе. Генри оставил ее, когда чинил замок от шкафа. Я столько раз накрывала это место салфеткой, что потемнело все вокруг, кроме узкой полоски дерева.

— Хорошо, — сказала Луиза. — Оставь себе. Но я помню папу. Мне не надо разрешения, чтобы его помнить.

— Я тоже его помню.

— Сейчас ты вспоминаешь только плохое.

— Вот как раз плохого я и не могу вспомнить! — я повысила голос так неожиданно, что сама вздрогнула. — Я сижу с этим со вчерашнего утра. Перебираю все подряд. Как мы клеили обои, как ездили за твоим первым пальто, как он учил тебя водить. Я даже галстук вспомнила, который ты ему подарила. И всякий раз думаю: а в этот день он хотел уйти? Уже передумал или еще хотел? Он держал меня вот так, за плечи, и одновременно думал о комнате у чужой женщины? Я не знаю, куда теперь девать все, что было. Оставить, как помнила? Сделать вид, что не читала? Скажи мне, раз ты понимаешь.

Луиза смотрела на меня, приоткрыв рот. От курицы больше не шел пар. На коже застыли светлые капли жира.

— Я не понимаю, — сказала она наконец. — Я только приехала.

Мы обе замолчали.

С улицы донесся шум двигателя. Сосед заводил газонокосилку, хотя траву на его дворе скрыло под листьями. Машина кашлянула, захлебнулась, потом взревела на весь квартал. Мне захотелось выйти и попросить его подождать.

Луиза встала, собрала тарелки. Мою тоже, хотя я почти ничего не съела. Я не остановила ее. Она включила воду, подождала, пока пойдет горячая, и начала мыть посуду. Кран пришлось держать сбоку, иначе он брызгал на стену.

— Я давно хотела его заменить, — сказала я.

— Помню.

— У Генри не доходили руки.

— Помню, мама.

— Удивительно, правда? Всем чинил, у себя не мог.

Луиза выключила воду.

— Ты знаешь, как он кричал на меня из-за фары?

Я растерялась.

— Какой фары?

— Когда я разбила его машину. Мне было семнадцать. Сдала назад прямо в столб, хотя места хватило бы на грузовик. Он сначала посмотрел, не поранилась ли я. А вечером орал так,

что я боялась спуститься ужинать. Сказал, что дуракам нельзя давать вещи дороже их головы. Ты потом принесла мне тарелку наверх и велела не плакать: отец устал.

— У него в тот день была двойная смена.

— Да. Вот именно это ты и сказала.

Она стояла у мойки, держа тарелку обеими руками.

— Он потом извинился. Через несколько дней. Я запомнила, потому что до того не знала, что он умеет извиняться. Пришел в гараж, где я делала вид, будто мне совершенно неинтересна машина. Долго перебирал гайки в банке. Потом сказал: «Про голову я зря». И дал ключи. У меня остался такой отец. Он мог наорать, а потом прийти. Я не хочу сейчас выбирать, каким из них он был на самом деле.

Я посмотрела на письмо. Край конверта размок там, куда я поставила его возле кувшина.

— Ты думаешь, я хочу?

— Нет. Я думаю, тебе больно. И ты говоришь так, что мне тоже становится больно, а помочь все равно нечем.

Луиза снова пустила воду. Я взяла полотенце и встала рядом. Несколько минут мы передавали друг другу тарелки. Когда осталась одна, дочь не отдала ее мне.

— Мама, можно я тоже буду на него сердиться?

— За что?

— За то, что собирался уйти. Ты сама рассказала. Я теперь тоже про это знаю.

Я раскрыла рот и закрыла. Мне хотелось объяснить ей, что уходят от жены, что дети все равно остаются детьми. Генри уже написал об этом — про деньги, которые станет присылать каждую неделю.

— Можно, — сказала я.

Луиза кивнула и передала тарелку.

К вечеру мы разгребли листья у заднего крыльца. Дочь нашла в сарае вторые грабли, у которых расшатался черенок, и все время поправляла его ногой. Листва слежалась тяжелым пластом. Под ней трава была белесая, пригнутая к земле. Пахло сырым железом от забора, мокрыми листьями и дымом: где-то за кварталом жгли садовый мусор.

Работали мы почти молча. Один раз Луиза поскользнулась, размахнулась граблями и едва не снесла мне очки. Потом долго смеялась, согнувшись, потому что я испугалась за очки сильнее, чем за нее.

В большой куче возле калитки нашелся теннисный мяч. Его оставили соседские дети. Я держала мяч в ладони, пытаясь отряхнуть присохшую траву, и вспомнила сорок восьмой год так ясно, что даже наклонилась вперед.

Мы тоже убирали листья. Генри стоял у бочки, в которой их жгли, а я ходила между домом и калиткой с телефонной трубкой: провод тогда позволял дотянуться почти до крыльца. Моя мать звонила из аптеки, просила заехать за ней и отвезти домой. Генри собирался в округ на собеседование. Я сказала матери, что он свободен. Потом крикнула ему про машину.

Он положил вилы, стряхнул с рукава пепел и вошел в дом. Про собеседование мы в тот день больше не говорили.

Я помнила это и раньше. Мать действительно плохо себя чувствовала. В округ можно было поехать в другой день. Мы тогда жили на одну зарплату, автомобиль часто ломался, я не могла оставить Луизу одну, а матери стало бы еще хуже, если бы я велела ей ждать автобуса.

Все это оставалось верным. Я попробовала вспомнить, что Генри сказал, войдя в дом. В памяти нашлись только мои собственные объяснения.

— Выбросить? — спросила Луиза.

Она показала на мяч.

— Нет, отдай мальчику напротив. Это, наверное, его.

Дочь ушла через дорогу. Я осталась возле кучи, держа грабли за холодный металлический зуб. Солнце стояло уже за крышами, но верхушка клена еще светилась. От нее время от времени отрывался лист, долго плыл в неподвижном воздухе и ложился туда, где мы только что убрали.

***

В четверг мы поехали в хозяйственный магазин за оконной замазкой. Луиза хотела купить заодно новую ручку для двери в ванную, но я сказала, что покупатели сами разберутся.

— Замазку они тоже могли бы купить, — ответила она.

— Из окна дует сейчас.

— А дверь заклинивает с июля.

Мы купили и ручку. В машине я держала пакет на коленях и молчала, потому что дочь была права, а мне не нравилось, как легко она теперь это замечала.

У магазина продавали кукурузные початки для украшения домов, веники и большие бумажные мешки для листвы. На окнах нарисовали черных кошек с желтыми глазами. Генри всегда ворчал на эти мешки: листья потом все равно вывозили на общую площадку, где они гнили под дождем. Он считал расточительным покупать им упаковку. Я купила пять штук. Возить мокрую листву в старой простыне мне надоело.

Мы проехали мимо фабричного переезда. Шлагбаум опустился перед нами, и Луиза заглушила мотор. Вагонов было много. На каждом качались сцепки, из-под колес пахло горячим металлом. За насыпью тянулись низкие корпуса фабрики, где Генри проработал почти сорок лет.

— Ты знаешь, жив ли Вирджил? — спросила я.

— Папин приятель?

— Кто еще.

— Видела его на похоронах. Думаю, жив. А что?

— Он тогда работал с Генри. Когда тот собирался в Толидо.

Луиза посмотрела на меня, но ничего не сказала.

— У него на Грей-стрит все тот же дом?

— Кажется. Хочешь заехать?

Я кивнула.

Дом Вирджила стоял в конце улицы, возле пустого участка, на котором росли высокие сорняки. Когда-то там собирались построить очередную бакалею. За двадцать лет успели поставить забор и повесить объявление о продаже. Теперь объявление сорвалось с одного гвоздя и висело боком.

Вирджил складывал поленья под навесом. Увидев нашу машину, он выпрямился, положил руку на поясницу и подождал, пока мы выйдем. Он не стал делать вид, что не узнал меня. Я была ему за это благодарна: после смерти Генри некоторые его знакомые узнавали меня с нарочитым усилием, предоставляя себе несколько секунд придумать выражение лица.

— Эдит. Луиза. Кто у вас что сломал?

— Пока ничего, — ответила дочь.

— Ну, значит, зря приехали. Кофе я уже выпил.

Он засмеялся, постучал перчатками друг о друга и повел нас в дом.

В прихожей пахло яблоками. Они лежали в деревянных ящиках, переложенные газетами. Вирджил велел брать, сколько унесем. Луиза сказала, что у нас своих достаточно, но он уже достал пакет.

— Эти хранятся, — объяснил он. — Их сразу есть нельзя. Кислые, зубы потеряешь. В ноябре будут хорошие.

— А пока зачем они нам?

— Затем, чтобы были в ноябре. Молодые люди хотят все немедленно.

— Мне тридцать три, Вирджил.

— Вот и я говорю.

Он поставил чайник. В кухне было жарко от печи, и мне пришлось снять верхний свитер. Вирджил заметил, как я стягиваю его через голову, и отвернулся с неожиданной деликатностью, хотя под ним был еще один.

Я рассказала про письмо. Он слушал, стоя возле плиты. Под конец снял очки и долго протирал их кухонным полотенцем.

— Толидо, — повторил он. — Ну да. Было.

Я подалась вперед.

— Ты знал?

— Про работу знал. Он просил меня посмотреть объявления. Фрэнк-то работал на другом заводе, ему требовался человек потолковее. Генри хотел сначала сам поговорить с мастером.

— Он собирался уехать один.

— Этого я не знал.

Вирджил надел очки. Стекло стало еще мутнее.

— Он не ездил, — сказала я. — Ни на какое собеседование. Остался здесь.

— Ездил. Я подменял его в пятницу.

Луиза опустила глаза к столу.

— Ты уверен, что это тот год?

— Плечо у него еще было на перевязи. Он снимал повязку перед проходной, чтобы не отправили домой. Я помогал ему надеть рубашку, Эдит. Год могу перепутать. Это помню.

Я сложила руки на коленях.

Вирджил посмотрел на Луизу. Она продолжала разглядывать стол.

— Может, он и говорил, — добавил он. — Столько прошло. Я иной раз не помню, зачем из комнаты вышел.

Я поняла, что он предоставляет мне возможность согласиться. Достаточно было кивнуть, и все трое смогли бы перейти к яблокам.

— Нет, — сказала я. — Он не говорил.

Чайник зашумел. Вирджил повернулся к плите слишком быстро для своей спины и выругался сквозь зубы. Луиза вскочила, сняла чайник за него, достала чашки. Я сидела, глядя на пуговицу его клетчатой рубашки, пришитую желтой ниткой.

— Он отказался сам? — спросила я.

— Не помню.

— Может, там что-нибудь случилось? Работа не понравилась? Фрэнк не смог устроить?

— Эдит, я правда не помню. Был разговор в раздевалке. Потом он съездил. Потом мы опять работали. Там многое менялось: мастера переводили, смены сокращали. Я тебе сейчас могу такого рассказать, что сам поверю.

— Попробуй вспомнить.

Вирджил сел напротив меня. Его руки лежали на столе ладонями вниз, на двух пальцах ногти были синие после старых ударов.

— Я помню, как мы потом ставили насос в нижнем цехе. Зимой, перед Рождеством. Нас там продержали до ночи. Генри хотел успеть в магазин за куклой. Куклу купили? — Он посмотрел на Луизу. — Такую, которая глаза закрывала.

Она пожала плечами.

— Наверное.

— Вот. А ты спрашиваешь про работу. Я помню куклу, потому что мы из-за нее поругались. Мне надо было ехать к теще. Он хотел, чтобы я остался один доделывать. В конце концов остались оба. Я тогда на него злился. Ему вечно казалось, что его дело важнее.

Вирджил осекся.

Я вдруг почувствовала, как горячо стало под воротником. Человек, сидевший напротив, помнил моего мужа раздражающим, упрямым, способным бросить напарника ради куклы. Генри опять куда-то ездил без меня, разговаривал в раздевалке, сердился возле насоса. Мне очень хотелось отобрать у Вирджила хотя бы одну из этих историй и проверить ее самой.

— Он был хорошим человеком, — сказал Вирджил.

— Я знаю.

Мы оба произнесли это слишком быстро.

Когда уходили, Вирджил все-таки вручил нам яблоки. Луиза понесла пакет к машине. Я задержалась на крыльце.

— Он никогда не говорил обо мне? — спросила я.

Вирджил нахмурился.

— Говорил. Конечно, говорил.

— Что?

Он посмотрел на свой двор. Под навесом осталась недоложенная поленница, одно полено перекатилось на дорожку. Его узкая белая сердцевина была видна даже издалека.

— Ты думаешь, у нас там были какие-то разговоры особенные? Мы работали, Эдит. Курили, если выпадало время. Про жену скажешь полслова и идешь дальше. Он просил достать тебе мешковину, когда ты обивала кресла. Еще ругался, что ты велела ему ходить в перчатках. Перчатки он носил. Потом сам купил другие, поплотнее. Что я могу тебе сказать?

Я кивнула. Он неловко коснулся моего локтя.

— Не вру я тебе. Если бы знал, сказал бы.

— Я верю.

В машине я открыла окно, хотя на улице было холодно. Луиза завела мотор и некоторое время не включала передачу.

— Домой?

— Домой.

За городским парком мальчишки сгребали листья в огромную кучу. Один разбежался и прыгнул в нее с головой. На секунду над травой торчали только ноги. Двое других бросились сверху.

— Закрой, пожалуйста, — сказала Луиза. — Мне дует в шею.

Я повернула ручку. Стекло поднялось, и детских голосов больше не стало слышно.

***

Люди приехали в пятницу после обеда. Миссис Баррет, которая занималась продажей, привезла их на своем автомобиле. Мужчину звали Гленн, женщину — Сьюзен. Они долго вытирали ноги на крыльце, пока я не сказала, что половик все равно пора выбросить.

Сьюзен извинилась за грязь на каблуках. Они только что смотрели другой дом, где двор был давно заброшен. Она была высокая, в коротком зеленом пальто, из-под которого выглядывала юбка с плохо заутюженной складкой. Гленн держал в руках шляпу и маленькую складную линейку. Мне сразу не понравилась линейка.

Мы прошли по комнатам. Миссис Баррет открывала двери, называла размеры и все время произносила слово «добротный». Добротные рамы. Добротные полы. Добротная лестница. На третьем повторении я представила, как Генри передразнивал бы ее за ужином, вытягивая губы, и едва не обернулась к Луизе. Дочь стояла у окна, придерживая занавеску, которую мы повесили обратно ради осмотра.

Гленн проверил линейкой место между батареей и стеной.

— Письменный стол, — объяснил он, заметив мой взгляд. — У нас длинный. Сьюзен работает дома.

— Чем вы занимаетесь?

— Перепечатываю рукописи для конторы, — сказала она. — Письма, договоры, разное, в общем-то. Иногда ничего не могу прочесть, но им все равно нужно к утру. Муж уверяет, что лучше сразу сочинять самой.

— Тогда хотя бы заплатят за содержание, — сказал Гленн.

Они улыбнулись друг другу. Я отвернулась к окну.

Генри мог бы смеяться со мной вечером, а ночью писать такое письмо. Прежде одно казалось мне надежным доказательством против другого. Теперь я не знала, куда смотреть при людях, которые улыбались своим женам.

В кухне Сьюзен задержалась. Провела ладонью по краю стола, посмотрела в окно на клен.

— Он ваш?

— Частично. Ствол у соседей, листья у нас.

— Вчера всю дорожку убрали, — сказала Луиза. — Мама уже снова может начинать.

— Мне нравится, — ответила Сьюзен.

— В мокром виде они очень тяжелые.

— Я знаю. У родителей было три таких дерева.

Она продолжала смотреть в окно. На ветке возле стекла висели две капли, и одна медленно сползала к другой. Ночью опять обещали дождь.

— В подвале бывает вода, — сказала я.

Миссис Баррет перестала открывать кладовку.

— После сильного дождя, — уточнила она.

— После долгого. Справа от лестницы. Генри заделывал шов, но вода все равно идет. Там нельзя ставить коробки на пол.

Гленн кивнул и достал блокнот. Он записал что-то рядом с размерами стола.

Миссис Баррет посмотрела на меня с таким выражением, будто я испортила хорошо приготовленное блюдо, и продолжила рассказывать про кухню.

Мне вдруг стало легче. Я показала Гленну, где в подвале зажигается свет. Он спустился, вернулся с кусочком паутины на рукаве и спросил, можно ли на следующей неделе привести знакомого, который разбирается в фундаментах. Я разрешила. Мы вышли на крыльцо.

Сьюзен осторожно обошла разошедшуюся половицу.

— Давно вы здесь живете?

— Тридцать пять лет.

— Вы, наверное, очень счастливо здесь жили.

Ей хотелось сказать что-нибудь приятное. Я видела это по тому, как она замялась после слова «наверное».

— Мы здесь много прожили, — ответила я. — Если соберетесь садить что-нибудь под окном, сначала уберите старый дерн. Там корни.

Она кивнула с благодарностью. Гленн помог ей сесть в машину, миссис Баррет осталась у калитки, чтобы поговорить со мной о воде в подвале. Она считала, что такие сведения разумнее сообщать по порядку. Я сказала, что теперь они сообщены. Мы обе были недовольны, но прощались вежливо.

После их отъезда я вернулась в кухню. На столе остался темный след от мокрой линейки. Я вытерла его рукавом и только потом заметила полотенце на плече.

— Что скажешь? — спросила Луиза.

— Стол у них длинный.

— Мама.

— Я не знаю. Нормальные люди. Ей нравится дерево.

— Тебе они не понравились?

Я села.

— Понравились. Просто они ходили и разговаривали, как будто мы уже уехали.

Луиза присела рядом.

— Для этого они приехали.

— Знаю.

Она придвинула мою руку к себе, стала снимать с пальца кусочек оконной замазки. Утром мы вставили ее в щели, где старая выкрошилась. Часть застряла у меня под ногтем.

— Я могу позвонить миссис Баррет, — сказала дочь. — Попросить повременить. Квартира на Грантовой никуда не денется. Найдут другого жильца, если что. У нас ты можешь пожить сколько захочешь.

— А Нил?

— Нил переживет. Только не переставляй ему чашки, он пугается.

— Почему я должна переставлять его чашки?

Луиза посмотрела на меня. Я отвела глаза.

— Хорошо, — сказала я. — Чашки трогать не буду.

— И не мой ту с разводами внутри. Он думает, от нее вкуснее кофе.

— Это уже глупость.

— Возможно. У него есть собственные глупости.

Мы помолчали. Луиза оставила в покое мой палец.

— Я хочу продать, — сказала я. — Дом большой. Зимой я пользуюсь двумя комнатами и все равно хожу проверять остальные. Я хочу, чтобы вы были поближе. Это было и до письма.

— Хорошо.

— Но квартиру я посмотрю еще раз. Ту, с балконом. Ты сказала, там темно. А я была только вечером.

— Сходим утром.

— Не обещай, что она мне понравится.

— Я и не обещаю.

К пяти стемнело. Сначала дождь только оставлял точки на подоконнике, потом пошел ровно и густо. На заднем дворе начали оседать мешки с листвой. Мы забыли убрать их под навес. Луиза надела пальто и вышла, я последовала за ней с фонариком. Вдвоем мы перенесли мешки, хотя дочь несколько раз сказала, чтобы я пошла в дом. Мне хотелось доделать начатое. И хотелось постоять рядом с ней под навесом, слушая, как вода барабанит по крыше.

Когда вернулись, со стороны спальни снова застучал подоконник.

Луиза посмотрела вверх.

— Вот это еще надо сказать покупателям.

— Скажу.

Мы позвонили человеку, который чистил водостоки, и договорились на понедельник. Потом я позвонила в топливную контору. Диспетчер узнал голос и начал объяснять, что счет прислали за прошлую поставку. Я сказала, что со счетом все в порядке. Мне нужна еще одна, небольшая.

— Вы ведь велели вычеркнуть вас из маршрута, миссис Морроу.

— Да. Теперь, пожалуйста, впишите обратно.

— На всю зиму?

— Пока на один раз.

Он попросил подождать. Я стояла с трубкой, глядя на Луизу. Дочь вытирала голову кухонным полотенцем. Волосы поднялись над ушами, и она вдруг стала похожа на себя в двенадцать лет, когда возвращалась с катка, потеряв шапку, и долго уверяла, что вышла без нее.

— Суп подогреть? — спросила она.

Я кивнула. Диспетчер вернулся и сказал, что машина будет утром.

Ночью я проснулась от тепла. Луиза добавила на кровать второе одеяло, когда я уже спала. Я высвободила ноги и долго лежала, слушая дом.

Дождь ослаб. Под подоконником капало реже, где-то в стене шуршала мышь. Генри каждый октябрь ставил ловушки и всякий октябрь удивлялся, что мыши опять пришли. Он использовал арахисовое масло, потому что сыр, по его мнению, расходовали впустую. Я всегда старалась подняться раньше него и посмотреть ловушки сама. Убить мышь он соглашался, выбрасывать мертвую не любил.

Я вспомнила ночь, когда мы поссорились из-за этих ловушек. Года за четыре до его смерти. Он положил одну за плитой, а я велела убрать: боялась, что сломается газовая трубка, когда он будет отодвигать плиту обратно. Он сказал, что знает, что делает. Я ответила, что знаю, как он знает. Через несколько минут мы уже кричали друг на друга про вещи, не имевшие отношения к мышам.

Он ушел в гараж. Я стояла посреди кухни и желала, чтобы он оставался там подольше. Помню, что даже обрадовалась холоду: в гараже не было печки, и мне хотелось, чтобы Генри померз.

Потом я стала готовить ужин. Он пришел, молча вымыл руки. Я поставила перед ним тарелку. Он ел, а я продолжала злиться на звук ложки. Мы так и легли, каждый на своем краю кровати.

Утром он убрал ловушку из-за плиты и поставил в кладовке. Я ничего не сказала. Теперь мне хотелось вспомнить, сказала ли хотя бы вечером. Наверное, нет.

В темноте за окном виднелись мокрые ветки. Когда проезжал автомобиль, свет фар проходил по потолку, на секунду цеплял шкаф и исчезал. Генри сердился на эти фары. Я любила смотреть на них, пока не спалось. Мне никогда не приходило в голову сообщить ему об этом.

Я встала, накинула халат и спустилась на кухню. В ящике под полотенцами лежало письмо. На сгибах бумага стала мягкой. Я разгладила ее возле лампы.

Мне снова было больно читать. За эти дни слова не изменились. Генри хотел, чтобы я отпустила его руку. Он устал от меня. Он договорился о комнате.

Я дошла до последнего абзаца. До свитера и швейной машинки. Здесь я всякий раз читала быстрее, торопясь проверить, не появилось ли за подписью продолжения.

Я помнила тот свитер. Коричневый, слишком длинный, с вытянутыми локтями. Он пах фабрикой даже после стирки. Генри его ненавидел, говорил, что в нем похож на старика. Я носила дома, пока совсем не распустились манжеты.

Если бы он меня разбудил, я бы спросила, что случилось. Потом, наверное, сказала бы, что ему пора спать. А может, подвинулась бы на нашей узкой кровати и дала положить голову мне на плечо. Я умела и это. Теперь почему-то приходилось напоминать себе.

Я сидела над листом до тех пор, пока не услышала шаги дочери.

***

Луиза спустилась в носках, прижимая к груди свитер.

— Ты заболела?

— Нет.

— Я увидела свет. Который час?

— Почти три.

Она надела свитер и посмотрела на плиту.

— Чай будешь?

— Буду.

Дочь набрала воду. Подождала, пока кран перестанет брызгать, вытерла стену. Я подвинула письмо подальше от чайника.

Луиза села напротив. Несколько секунд она смотрела на мои руки, потом подняла глаза.

— Ты опять читаешь.

— Да.

— Хочешь, я просто посижу?

Я кивнула.

Она не стала ничего говорить. Сидела, поджав одну ногу, и грела вторую в ладонях. Я хотела велеть ей принести тапочки, но увидела, что она уже устроилась удобно.

— Он ездил туда, — сказала я. — И вернулся домой. Я, наверное, спросила, как прошел день. Он сказал что-нибудь про фабрику. Мы поужинали.

Луиза кивнула, не поднимая глаз.

— Мне все время хочется добраться до того вечера, — продолжила я. — Посмотреть, что у него было с лицом. Спросить, где он был. Я представляю, как сижу здесь, а он входит. Молодой. Ключи кладет на холодильник. И если я сейчас подберу слова, он мне ответит.

— Ты бы тогда поверила?

— Не знаю. Может, стала бы спорить. Доказала бы, что мы никуда не можем ехать. Мать, деньги, ты. У меня всегда хватало причин.

— Причины ведь были.

— Были. Мне тогда все время казалось, что без меня он ничего не решит как следует. Если решит, я же потом буду исправлять. Он мог полдня выбирать сверло и забыть купить хлеб. И я злилась, злилась. Но хлеб покупала. А он еще возмущался, что я не доверяю.

Я посмотрела на дочь.

— Послушай, я опять говорю так, будто он все время что-нибудь забывал. Он меня из больницы забирал, когда мне вырезали аппендикс. Привез домой, сам постирал простыни. Соседка хотела помочь, а он не пустил — сказал, справится. Только сушил их во дворе в ноябре, они заледенели. Занес и стоял в дверях, держал этот белый щит. Я так смеялась, что заболел шов. Он испугался и начал сердиться. Все говорил: «Перестань, тебе нельзя». Я все равно смеялась.

Луиза улыбнулась.

— Я помню простыни. Он прислонил их к ванной.

— Значит, помнишь.

— Конечно.

Чайник начал посвистывать. Она поднялась, выключила газ и достала чашки. Моя с отколотым краем стояла в раковине. Луиза взяла две из еще не закрытой коробки.

— Эти я тебе приготовила, — сказала я.

— Я вижу. Мне можно из нее выпить?

Я засмеялась. Смех получился коротким и тут же кончился, но Луиза тоже улыбнулась.

Она налила чай, села и обхватила чашку ладонями.

— Я не хочу, чтобы ты думала, будто я считаю тебя виноватой, — сказала дочь. — Когда мы говорили про папу и фару… Я потом лежала и думала, что добавила тебе еще и это. Ты тогда пришла ко мне с ужином. Я была тебе ужасно рада. Просто хотела сказать, что он тоже мог быть тяжелым. Ты не одна.

— Не надо распределять поровну.

— Я не распределяю. Я скучаю по нему. По вам обоим, какими вы были, когда я приезжала. Вы всегда начинали спрашивать одновременно, что я ела по дороге, почему Нил не сменит машину, как дела на работе. Я злилась, даже однажды сказала Нилу, что больше не поеду без него. А сейчас готова сидеть весь вечер и отвечать. Пусть спрашивает про машину сколько угодно.

Она вытерла нос рукавом. Я пододвинула ей коробку с бумажными салфетками.

— Мне тоже было с ним хорошо, — сказала я.

Луиза прижала салфетку к глазам и кивнула.

— Мне было хорошо, а ему могло быть плохо. Вот что я никак не могу… — я умолкла, провела пальцем по сгибу листа. — Я хочу снова прочитать и найти там что-нибудь, от чего

станет легче. Делаю это уже несколько дней. Все время одна и та же бумага. Даже знаю, где чернила побледнели.

— Может, сегодня хватит?

— Может.

Я не складывала письмо. Луиза пила чай маленькими глотками. Свет лампы ложился ей на лоб, на влажную полоску под глазом. Сходство с Генри то появлялось, то исчезало. Она почесала щеку концом салфетки, и я увидела только дочь — заспанную, продрогшую, которую держала на кухне посреди ночи.

— Ты спрашивала, почему я сразу не позвонила, — сказала я. — Я боялась, что ты его защитишь.

— Я его защищала.

— Да. А потом боялась, что согласишься со мной.

Луиза поставила чашку.

— Мама, я не знаю, почему он остался.

— Я тоже.

Я произнесла это и подождала. Ничего не произошло. Труба за окном продолжала капать, из кладовки опять донесся шорох. Луиза повернула голову на звук.

— Мышь?

— Наверное.

— Поставим завтра ловушку.

— Я поставлю. Ты и так здесь почти все переделала.

— Ручка в ванной теперь работает.

— Да. Спасибо.

Дочь удивленно посмотрела на меня. Я редко благодарила за то, что в семье делалось само собой. Генри тоже редко. В последние месяцы он начал говорить спасибо за каждую чашку воды, и меня это страшно сердило.

За окном ветер встряхнул клен. Несколько листьев ударились в стекло и прилипли к нему. Один, большой, с оборванным краем, медленно сползал вниз. На его месте оставалась прозрачная дорожка, через которую была видна улица. Там светился фонарь, блестела крыша автомобиля Луизы и темнела тыква на чужом крыльце. К утру мальчик, наверное, обнаружит, что дождь залил ее изнутри.

Я посмотрела на письмо. Оно было достаточно старым, чтобы желтый край отличался от белого фарфора. Внизу Генри вывел свою подпись тесно, почти у самого сгиба.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.